

# АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

РУССКИЙ  
НАРОД И  
СОЦИАЛИЗМ

# Александр Иванович Герцен

## Русский народ и социализм

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25444982](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25444982)*

### **Аннотация**

«Милостивый государь, вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей, каждое слово, вытекающее из вашего благородного пера, принимается европейскою демократиею с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемся самых глубоких моих убеждений, мне было возможно молчать и оставить без ответа характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о Костюшке...»

# Содержание

# Александр Герцен

## Русский народ и социализм

*Перевод с французского*

### Письмо к И. Мишле

Милостивый государь, вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей, каждое слово, вытекающее из вашего благородного пера, принимается европейскою демократиею с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемся самых глубоких моих убеждений, мне было возможно молчать и оставить без ответа характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о Костюшке<sup>1</sup>.

Этот ответ необходим и по другой причине; пора показать Европе, что, говоря о России, говорят не об отсутствующем, не о безответном, не о глухонемом.

Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконец, в Европе, — мы тут налицо и считаем долгом подать свой голос, когда человек, вооруженный огромным и заслуженным авторитетом, утвер-

---

<sup>1</sup> В фельетоне журнала «L'Événement» от 28 августа до 15 сентября 1851. После этого легенда о Костюшке вошла в особо изданный том сочинений Мишле под заглавием «Демократических легенд».

ждает, что «Россия не существует, что русские не люди, что они лишены нравственного смысла».

Если вы разумеете Россию официальную, царство-фасад, византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете. Не нам тут играть роль заступника. У русского правительства так много агентов в прессе, что в красноречивых апологиях его действий никогда не будет недостатка.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы затрагиваете вопрос более глубокий; вы говорите о самом народе.

Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совести, молчать.

Русский народ, милостивый государь, жив, здоров и даже не стар, – напротив того, очень молод. Умирают люди и в молодости, это бывает, но это не нормально.

Прошлое русского народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Он *не верит* в свое настоящее положение, он имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор.

Самый трудный для русского народа период приближается к концу. Его ожидает страшная борьба; к ней готовятся его враги.

Великий вопрос: *to be or not to be*<sup>2</sup> – скоро будет решен для России. Но грешно перед борьбою отчаиваться в успехе.

---

<sup>2</sup> быть или не быть (англ.).

Русский вопрос принимает огромные, страшные размеры; он сильно озабочивает все партии; но мне кажется, что слишком много занимаются Россией императорскою, Россию официальной и слишком мало Россией народной, Россию безгласной.

Даже смотря на Россию только с правительственной точки зрения, не думаете ли вы, что не мешало бы познакомиться поближе с этим неудобным соседом, который дает чувствовать себя во всей Европе, – тут штыками, там шпионами? Русское правительство простирается до Средиземного моря своим покровительством Оттоманской Порте, до Рейна своим покровительством немецким своякам и дядям, до Атлантического океана своим покровительством *порядку* во Франции.

Не мешало бы, говорю я, оценить по достоинству этого всемирного покровителя, исследовать, не имеет ли это странное государство другого призвания, кроме отвратительной роли, принятой петербургским правительством, – роли преграды, беспрестанно вырастающей на пути человечества.

Европа приближается к страшному катаклизму. Средневековый мир рушится. Мир феодальный кончается. Политические и религиозные революции изнемогают под бременем своего бессилия; они совершили великие дела, но не исполнили своей задачи. Они разрушили веру в престол и в алтарь, но не осуществили свободу; они зажгли в сердцах желания,

которых они не в силах исполнить. Парламентаризм, протестантизм – все это были лишь отсрочки, временное спасение, бессильные оплоты против смерти и возрождения. Их время минуло. С 1848 года стали понимать, что ни окостенелое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая действительная философия, ни бесплодный религиозный рационализм не в силах отодвинуть совершение судеб общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. В этом соглашаются люди революции и люди реакции. У всех закружилась голова; тяжелый, жизненный вопрос лежит у всех на сердце и сдавливает дыхание. С возрастающим беспокойством все задают себе вопрос, достанет ли силы на возрождение старой Европе, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? Со страхом ждут ответа, и это ожидание ужасно.

Действительно, вопрос страшный!

Сможет ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглав в это необозримое будущее, куда увлекает ее необоримая сила, к которому она несется без оглядки, к которому путь идет, может быть, через развалины отцовского дома, через обломки минувших цивилизаций, через попорченные богатства новейшего образования?

С обеих сторон верно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена в глухой, душный мрак накануне решительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томление. Ни законности, ни правды, ни даже личины сво-

боды; везде неограниченное господство светской инквизиции; вместо законного порядка – осадное положение. Один нравственный двигатель управляет всем – страх, и его достаточно. Все вопросы отступают на второй план перед всепоглощающим интересом реакции. Правительства, по-видимому самые враждебные, сливаются в единую вселенскую полицию. Русский император, не скрывая своей ненависти к французам, награждает парижского префекта полиции; король неаполитанский жалует орден президенту республики. Берлинский король, надев русский мундир, спешит в Варшаву обнимать своего врага, императора австрийского, в благодатном присутствии Николая, в то время как он, отщепленец от единой спасающей церкви, предлагает свою помощь римскому владыке. Среди этих сатурналий, среди этого шабаша реакции, ничто не охраняет более личности от произвола. Даже те гарантии, которые существуют в неразвитых обществах, в Китае, в Персии, не уважаются более в столицах так называемого образованного мира.

Едва веришь глазам. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англии, «этого алмаза, оправленного в серебро морей», как называет ее Шекспир, если б Швейцария, как Петр, убоявшись кесаря, отреклась от своего начала, если б Пиэмонт, эта уцелевшая ветка Италии, это последнее убежище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Апеннины, если б и они увлек-



лись примером соседей, если б и эти три страны заразились мертвящим духом, веющим из Парижа и Вены, – можно было бы подумать, что консерваторам уже удалось довести старый мир до конечного разложения, что во Франции и Германии уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертного томления и мучительного возрождения, среди этого мира, распадающегося в прах вокруг колыбели, взоры невольно обращаются к востоку.

Там, как темная гора, вырезающаяся из-за тумана, виднеется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идет, как лавина, на Европу, что оно, как нетерпеливый наследник, готово ускорить ее медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвестное двести лет тому назад, явилось вдруг, без всяких прав, без всякого приглашения, грубо и громко заговорило в совете европейских держав и потребовало себе доли в добыче, собранной без его содействия.

Никто не посмел восстать против его притязаний на вмешательство во все дела Европы.

Карл XII попытался, но его до тех пор непобедимый меч сломился; Фридрих II захотел воспротивиться посягательствам петербургского двора; Кёнигсберг и Берлин сделались добычей северного врага. Наполеон проник с полумиллионом войска в самое сердце исполина и уехал один украдкой, в первых попавших пошевнях. Европа с удивлением смотре-

ла на бегство Наполеона, на несущиеся за ним в погоню тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по дороге немцам милостыню – их национальной независимости. С тех пор Россия налегла, как вампир, на судьбу Европы и стережет ошибки царей и народов. Вчера она чуть не раздавила Австрию, помогая ей против Венгрии, завтра она провозгласит Бранденбург русскою губернею, чтобы успокоить берлинского короля.

Вероятно ли, что накануне борьбы об этом бойце ничего не знают? А между тем он уже стоит, грозный, в полном вооружении, готовый переступить границу по первому зову реакции. И при всем том едва знают его оружие, цвет его знамени и довольствуются его официальными речами и неопределенными разногласными рассказами о нем.

Иные говорят только о всемогуществе царя, о правительственном произволе, о рабском духе подданных; другие утверждают, напротив, что петербургский империализм не народен, что народ, раздавленный двойным деспотизмом правительства и помещиков, несет ярмо, но не мирится с ним, что он не уничтожен, а только несчастен, и в то же время говорят, что этот самый народ придает единство и силу колоссальному царству, которое давит его. Иные прибавляют, что русский народ – *презренный сброд* пьяниц и плутов; другие же уверяют, что Россия наделена способною и богато одаренною пороною людей.

Мне кажется, есть что-то трагическое в старческой рассе-

янности, с которой старый мир спутывает все сведения об своем противнике.

В этом сбросе противуречащих мнений проглядывает столько бессмысленных повторений, такая печальная поверхность, такая закостенелость в предрассудках, что мы поневоле обращаемся за сравнением к временам падения Рима.

Тогда, также накануне переворота, накануне победы варваров, провозглашали вечность Рима, бессильное безумие назареев и ничтожность движения, начинавшегося в варварском мире.

Вам принадлежит великая заслуга: вы первый во Франции заговорили о русском народе, вы невзначай коснулись самого сердца, самого источника жизни. Истина сейчас бы обнаружилась вашему взору, если б в минуту гнева вы не отдернули протянутой руки, если б вы не отвернулись от источника, потому что он показался мутным.

Я с глубоким прискорбием прочел ваши озлобленные слова. Печальный, с тоскою в сердце, я, признаюсь, напрасно искал в них историка, философа и прежде всего любящего человека, которого мы все знаем и любим. Спешу оговориться; я вполне понял причину вашего негодования: в вас заговорила симпатия к несчастной Польше. Мы также глубоко испытываем это чувство к нашим братьям-полякам, и у нас это чувство – не только жалость, а также стыд и угрызение совести. Любовь к Польше! Мы все ее любим, но разве с этим

чувством необходимо сопрягать ненависть к другому народу, столь же несчастному, – народу, который принужден был своими связанными руками помогать злодеяниям свирепого правительства? Будем великодушны, не забудем, что на наших глазах народ, вооруженный всеми трофеями недавней революции, согласился на восстановление варшавского порядка в Риме; а сегодня... взгляните сами, что происходит вокруг вас... а ведь мы не говорим еще, чтобы французы *перестали быть людьми*.

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нет победителя. Польша и Россия подавлены общим врагом. Жертвы, мученики – и те отворачиваются от прошлого, равно печального для них и для нас. Ссылаюсь, как вы, на вашего друга, на великого поэта Мицкевича.

Не говорите о мнениях польского певца, что «это милосердие, святое заблуждение». Нет, это плоды долгой и добросовестной думы, глубокого понимания судеб славянского мира. Прощение врагов – прекрасный подвиг; но есть подвиг еще более прекрасный, еще больше человеческий: это понимание врагов, потому что понимание – разом прощение, оправдание, примирение!

Славянский мир стремится к единству; это стремление обнаружилось тотчас после наполеоновского периода. Мысль о славянской федерации уже зарождалась в революционных планах Пестеля и Муравьева. Многие поляки участвовали в тогдашнем русском заговоре.

Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с каким нетерпением ждали мы известия из Варшавы; мы плакали, как дети, при вести о поминках, справленных в столице Польши по нашим петербургским мученикам. Сочувствие к полякам подвергало нас жестоким наказаниям; поневоле надобно было скрывать его в сердце и молчать.

Очень может быть, что во время войны 1830 года в Польше преобладало чувство исключительной национальности и весьма понятной вражды. Но с тех пор деятельность Мицкевича, исторические и филологические труды многих славян, более глубокое знание европейских народов, купленное тяжелою ценою изгнания, дали мыслям совсем другое направление. Поляки почувствовали, что борьба идет не между русским народом и ими, они поняли, что им впредь можно сражаться не иначе, как ЗА ИХ И НАШУ СВОБОДУ, как было написано на их революционном знамени.

Конарский, измученный и застреленный Николаем в Вильне, призывал к восстанию русских и поляков, без различия племени. Россия отблагодарила его одною из тех едва известных трагедий, которыми оканчивается у нас всякое героическое проявление воли под давлением немецких ботфортов.

Армейский офицер Короваев решил спасти Конарского.

День его дежурства приближался; все было приготовлено для бегства, когда предательство одного из товарищей польского мученика разрушило его планы. Молодого человека арестовали, отправили в Сибирь, и с тех пор об нем не было никогда слухов.

Я провел пять лет в ссылке в отдаленных губерниях империи; много встречал я там ссыльных поляков. Почти в каждом уездном городе живет либо целое семейство, либо один из несчастных воинов независимости. Я охотно сослался бы на их свидетельство; конечно, они не могут пожаловаться на недостаток симпатии со стороны местных жителей. Разумеется, тут речь идет не о полиции и не о высшей военной иерархии. Они нигде не отличаются любовью к свободе, тем паче в России. Я мог бы сослаться также на польских студентов, посылаемых ежегодно в русские университеты для удаления от родных влияний; пусть они расскажут, как принимали их русские товарищи. Они расставались с нами со слезами на глазах.

Вы помните, что в 1847 году в Париже, когда польские эмигранты праздновали годовщину своей революции, на трибуне явился русский, чтобы просить о дружбе и о забвении прошлого. Это был наш несчастный друг Бакунин... Впрочем, чтоб не ссылаться на соотечественников, выбираю между теми, которых считают нашими врагами, человека, которого вы сами назвали в вашей легенде о Костюшке. Обратитесь за сведениями об этом предмете к одному

из старейшин польской демократии, к Бернацкому, одному из министров революционной Польши; я смело ссылаюсь на него, — долгое горе, конечно, могло бы ожесточить его против всего русского. Я убежден, что он подтвердит все сказанное мною.

Солидарность, связывающая Россию и Польшу между собою и со всем славянским миром, не может быть отвергнута; она очевидна. Еще более: вне России нет будущности для славянского мира; без России он не разовьется, он расплывается и будет поглощен германским элементом; он делается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его назначение.

Следуя за постепенным развитием вашей мысли, я должен вам признаться, что мне невозможно согласиться с вашим взглядом, по которому вся Европа представляет одну личность, в которой каждая народность играет роль необходимого органа.

Мне кажется, что все германо-романские народности необходимы в европейском мире, потому что они существуют, но что трудно было бы доказать, что они существуют в нем вследствие какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличал предсуществующую необходимость от необходимости, вносимой впоследствии фактов. Природа покоряется необходимости совершившихся событий, но колебание между разнообразными возможностями очень велико. На том же основании славянский мир может предъявлять свои

права на единство, тем более, что он состоит из единого племени.

Централизация противна славянскому духу; федерализация гораздо свойственнее его характеру. Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов, славянский мир вступит, наконец, в истинно историческое существование. На его прошлое можно смотреть только как на рост, на приготовление, на очищение. Исторические государственные формы, в которых жили славяне, не соответствовали внутренней национальной потребности их, потребности, неопределенной, инстинктивной, если хотите, но тем самым заявляющей необыкновенную жизненность и много обещающей в будущем. Славяне до сих пор во всех фазах своей истории обнаруживали странное полувнимание – даже удивительную симпатию. Так Россия перешла из язычества в христианство без потрясений, без возмущений, единственно из покорности великому князю Владимиру, из подражания Киеву. Старых идолов без сожаления бросили в Волхов и покорились новому богу, как новому идолу.

Восемьсот лет спустя часть России точно так же покорилась выписанной из-за границы цивилизации.

Славянский мир похож на женщину, никогда не любившую и по этому самому, по-видимому, не принимающую никакого участия во всем происходящем вокруг нее. Она везде не нужна, всем чужая. Но за будущее отвечать нельзя; она еще молода, и уже странное томление овладело ее сердцем и



заставляет его биться скорее.

Что касается до богатства народного духа, то нам достаточно указать на поляков, единственный славянский народ, который бывал разом и силен и свободен.

Славянский мир, в сущности, не так разнороден, как кажется. Под внешним слоем рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской, порабощенной, византийской России, под демократическим правлением сербского воеводы, под бюрократическим ярмом, которым Австрия подавляет Иллирию, Далмацию и Банат, под патриархальной властью Османлисов и под благословением черногорского владыки живет народ, физиологически и этнографически тождественный.

Большая часть этих славянских племен почти никогда не подвергалась порабощению вследствие завоевания. Зависимость, в которой так часто находились они, большею частию выражалась только в признании чужого владычества и во взносе дани. Таков, например, был характер монгольского владычества в России. Таким образом, славяне сквозь длинный ряд столетий сохранили свою национальность, свои нравы, свой язык.

По всему вышесказанному не имеем ли мы право считать Россию зерном кристаллизации, тем центром, к которому тяготеет стремящийся к единству славянский мир, и это тем более, что Россия покуда единственная часть великого племени, сложившаяся в сильное и независимое государство?

Ответ на этот вопрос был бы совершенно ясен, если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось бы о своем национальном призвании, если б этот тупой и мертвящий деспотизм мог ужиться с какою-нибудь человеческою мыслию. Но при настоящем положении дел какой добросовестный человек решится предложить западным славянам соединение с империею, находящеюся постоянно в осадном положении, – империею, где скипетр превратился в заколачивающую насмерть палку?

Императорский панславизм, восхваляемый от времени до времени людьми купленными или заблуждающимися, разумеется, не имеет ничего общего с союзом, основанным на началах свободы.

Здесь логика необходимо приводит нас к вопросу первостепенной важности.

Предположив, что славянский мир может надеяться в будущем на более полное развитие, нельзя не спросить, который из элементов, выразившихся в его зародышном состоянии, дает ему право на такую надежду? Если славяне считают, что их время пришло, то этот элемент должен соответствовать революционной идее в Европе.

Вы указали на этот элемент, вы коснулись его, но он ускользнул от вас, потому что благородное сострадание к Польше отвлекло ваше внимание.

Вы говорите, что «основание жизни русского народа есть *коммунизм*», вы утверждаете, что «его сила лежит в аграр-

ном законе, в постоянном дележе земли».

Какое страшное *Мане-фекел* вылетело из ваших уст!.. Коммунизм в основании! Сила, основанная на разделе земель! И вы не испугались ваших собственных слов?

Не следовало ли тут остановиться, подумать, углубиться в вопрос, оставить его не прежде, чем убедившись, мечта это или истина?

Разве в XIX столетии есть какой-нибудь серьезный интерес, лежащий вне вопроса о коммунизме, вне вопроса о разделе земель?

Увлеченный вашим негодованием, вы продолжаете: «У них (у русских) недостает существенного признака человечности – нравственного чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имеют для них смысла; заговорите о них – они молчат, улыбаются и не знают, что значат эти слова». Кто же те русские, с которыми вы говорили? Какие понятия о правде и истине оказались для них недоступными? Этот вопрос не лишний. В наше глубоко революционное время слова правда и истина утратили свое абсолютное, тождественное для всех значение.

*Истина и правда старой Европы в глазах Европы рождающейся – неправда и ложь.*

Народы – произведения природы; история – прогрессивное продолжение животного развития. Прилагая наш нравственный масштаб к природе, мы далеко не уйдем. Ей дела нет ни до нашей хулы, ни до нашего одобрения. Для нее

не существуют приговоры и Монтионовские премии. Она не подпадает под этические категории, созданные нашим личным произволом. Мне кажется, что народ нельзя назвать ни дурным, ни хорошим. В народе всегда выражается истина. Жизнь народа не может быть ложью. Природа производит лишь то, что осуществимо при данных условиях: она увлекает вперед все существующее своим творческим брожением, своею неутолимой жаждой осуществления, этою жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившие жизнью доисторической; другие – живущие жизнью внеисторической; но, раз вступивши в широкий поток единой и нераздельной истории, они принадлежат *человечеству*, и, с другой стороны, им принадлежит все прошлое человечества. В истории, т. е. в деятельной и прогрессивной части человечества, мало-помалу сглаживается аристократия лицевого угла, цвета кожи и других различий. То, что не очеловечилось, не может вступить в историю; поэтому нет народа, взошедшего в историю, которого можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных.

Нет человека довольно смелого или довольно неблагодарного, чтобы отвергать огромное значение Франции в судьбах европейского мира; но позвольте мне откровенно признаться, что я не могу согласиться с вашим мнением, по которому участие Франции – условие *sine qua non*<sup>3</sup> дальнейшего хода

---

<sup>3</sup> неперемное (*лат.*).

истории.

Природа никогда не кладет весь свой капитал на одну карту. Рим, вечный город, имевший не меньше прав на всемирную гегемонию, пошатнулся, разрушился, исчез, и безжалостное человечество шагнуло вперед через его могилу.

С другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безумие, видеть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сбор существ, человеческих только по порокам – в народе, разраставшемся в течение десяти столетий, упорно хранившем свою национальность, сплотившемся в огромное государство, вмещающемся в историю гораздо более, может быть, чем бы следовало.

И все это тем труднее принять, что занимающий нас народ, даже по словам его врагов, нисколько не находится в застое. Это вовсе не племя, дошедшее до общественных форм, приблизительно соответствующих его желаниям, и уснувшее в них, как китайцы, еще менее народ, переживший себя и угасающий в старческой немощи, как индусы. Напротив того, Россия государство совершенно новое – незаконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется, – часто к худшему, но все-таки изменяется. Одним словом, это народ, по вашему мнению, имеющий основным началом коммунизм, сильный разделом земель...

В чем, наконец, упрекаете вы русский народ? В чем со-

стоит сущность вашего обвинения?

«Русский, – говорите вы, – лжет и крадет; постоянно крадет, постоянно лжет, и это совершенно невинно; это в его природе».

Я не останавливаюсь на чрезмерном обобщении вашего приговора, но обращаюсь к вам с простым вопросом: кого обманывает, кого обкрадывает русский человек? Кого, как не помещика, не чиновника, не управляющего, не полицейского, одним словом, заклятых врагов крестьянина, которых он считает за басурманов, за отступников, за полунемцев? Лишенный всякой возможности защиты, он хитрит со своими мучителями, он их обманывает и в этом совершенно прав. Хитрость, милостивый государь, по словам великого мыслителя<sup>4</sup>, – ирония грубой власти.

Русский крестьянин, при своем отвращении от личной земельной собственности, так верно подмеченном вами, при своей беззаботной и ленивой природе, мало-помалу и незаметно запутался в сети немецкой бюрократии и помещичьей власти. Он подвергся этому унижающему злу со страдательной покорностью, но он не поверил ни правам помещика, ни правде судов, ни законности исполнительной власти. Вот уже почти двести лет, как все его существование стало глухою, отрицательною оппозициею против существующего порядка вещей. Он покоряется притеснению, он терпит, но не причастен ничему, что происходит вне сельской общины.

---

<sup>4</sup> Гегель, в посмертных сочинениях. (Примеч. А. И. Герцена.)

Имя царя еще возбуждает в народе суеверное сочувствие; не перед царем Николаем благоговеет народ, но перед отвлеченной идеею, перед мифом; в народном воображении царь представляется грозным мстителем, осуществлением правды, земным провидением.

После царя одно духовенство могло бы иметь влияние на православную Россию. Оно одно представляет в правительственных сферах старую Русь; духовенство не бреет бороды и тем самым осталось на стороне народа. Народ с доверием слушает монахов. Но монахи и высшее духовенство, исключительно занятые жизнью загробной, нимало не заботятся об народе. Попы же утратили всякое влияние вследствие жадности, пьянства и близких сношений с полицией. И здесь народ уважает идею, но не личности.

Что до раскольников, то они ненавидят и лицо и идею, и попа и царя.

Кроме царя и духовенства, все элементы правительства и общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянин находится, в буквальном смысле слова, вне закона. Суд ему не заступник, и все его участие в существующем порядке дел ограничивается двойным налогом, тяготеющим на нем и который он вносит трудом и кровью. Отверженный всеми, он понял инстинктивно, что все управление устроено не в его пользу, а ему в ущерб, и что задача правительства и помещиков состоит в том, как бы вымучить из него побольше труда, побольше рекрут, побольше денег.

Понявши это и одаренный сметливым и гибким умом, он обманывает их везде и во всем. Иначе и быть не может: если б он говорил правду, он тем самым признавал бы над собою их власть; если б он их не обкрадывал (заметьте, что со стороны крестьянина считают покражею утайку части произведений собственного труда), он тем самым признавал бы законность их требований, права помещиков и справедливость судей.

Надобно видеть русского крестьянина перед судом, чтобы вполне понять его положение, надобно видеть его убитое лицо, его пугливый, испытующий взор, чтобы понять, что это военнопленный перед военным советом, путник перед шайкою разбойников. С первого взгляда заметно, что жертва не имеет ни малейшего доверия к этим враждебным, безжалостным, ненасытным грабителям, которые допрашивают, терзают и обирают его. Он знает, что если у него есть деньги, то он будет прав, если нет – виноват.

Русский народ говорит своим старым языком; судьи и подьячие пишут новым бюрократическим языком, уродливым и едва понятным, – они наполняют целые in-folio грамматическими несообразностями и скороговоркой отчитывают крестьянину эту чепуху. Понимай как знаешь и выпутывайся как умеешь. Крестьянин видит, к чему это клонится, и держит себя осторожно. Он не скажет лишнего слова, он скрывает свою тревогу и стоит молча, прикидываясь дураком.

Крестьянин, оправданный судом, плетется домой такой же печальный, как после приговора. В обоих случаях реше-



ние кажется ему делом произвола или случайности.

Таким образом, когда его призывают в свидетели, он упорно отзывается неведением, даже против самой неопровержимой очевидности. Приговор суда не марает человека в глазах русского народа. Ссылные, каторжные слынут у него *несчастливыми*.

Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиною; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии. Роковая сторона его характера состоит в том, что он покоряется этому насилию, а не в том, что он отрицает его по-своему и старается оградить себя хитростию. Ложь перед судьей, поставленным незаконною властью, гораздо откровеннее, чем лицемерное уважение к присяжным, подтасованным купленным префектом. Народ уважает только те установления, в которых отразились присущие ему понятия о законе и праве.

Есть факт, несомненный для всякого, кто близко познакомится с русским народом. Крестьяне редко обманывают друг друга; между ними господствует почти неограниченное доверие, они не знают контрактов и письменных условий.

Вопросы о размежевании полос по необходимости бывают очень сложны при беспрестанных разделах земель по числу тягол; между тем дело обходится без жалоб и процессов. Помещики и правительство жадно ищут случая для вмешательства; но этот случай не представляется. Мелкие несогла-

сия повергаются на суд старикам или миру, и их решение беспрекословно принимается всеми. Точно так же в артелях. Артели составляются часто из нескольких сотен работников, соединяющихся на определенное время, например – на год. По прошествии года работники делят между собою заработки по трудам каждого и по общему соглашению. Полиция никогда не имеет удовольствия вмешиваться в их счета. Почти всегда артель отвечает за каждого из артельщиков.

Еще теснее становится связь между крестьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники. От времени до времени правительство устраивает дикий набег на какую-нибудь раскольничью деревню. Крестьян сажают в тюрьму, ссылают, все это без всякого плана, без последовательности, без всякого повода и нужды, единственно для того, чтобы удовлетворить требованиям духовенства и дать занятие полиции. При этих-то охотах на раскольников обнаруживается вновь характер русских крестьян – солидарность, связывающая их между собою. Тогда-то надобно видеть, как они успевают обманывать полицию, спасать своих братьев, скрывать священные книги и сосуды, как они претерпевают, не проговариваясь, самые ужасные муки. Пусть укажут мне хоть один случай, в котором бы раскольничья община была выдана крестьянином, хотя бы и православным?

Это свойство русского характера делает полицейские следствия чрезвычайно затруднительными. Нельзя этому не порадоваться от души. У русского крестьянина нет нрав-

ственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; это нравственность глубоко народная; немного, что известно ему из евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Крестьянская община, принадлежавшая кн. Козловскому, откупилась на волю. Землю разделили между крестьянами сообразно суммам, внесенным каждым из них в складчину для выкупа. Это распоряжение, по-видимому, было самое естественное и справедливое. Однако ж крестьяне нашли его столь неудобным и не согласным с их обычаями, что они решились распределить между собою всю сумму выкупа, как бы долг, лежащий на общине, и разделить земли по принятому обыкновению. Этот факт приводится г. Гакстагаузенем. Автор сам посещал упомянутую деревню. Г-н Тегоборский говорит в книге, недавно вышедшей в Париже и посвященной императору Николаю, что эта система раздела земель кажется ему неблагоприятною для земледелия (как будто ее цель – успехи земледелия!), но, впрочем, прибавляет: «Трудно устранить эти неудобства, потому что эта система делений связана с устройством наших общин, *до которого коснуться было бы опасно*: оно построено на ее основной мысли об единстве общины и о праве каждого члена на часть общинного владения, соразмерную его силам, поэтому оно поддерживает общинный дух, этот надежный оплот общественного порядка. Оно в то же время самая лучшая защита против распространения пролетариата и коммунистических идей». (Понятно, что для народа, обладающего на деле владением сообща, коммунистические идеи не представляют никакой опасности). «В высшей степени замечателен здравый смысл, с которым крестьяне устраняют, где это нужно, неудобства своей системы; легкость, с которою они соглашаются между собою в вознаграждении неровностей, лежащих в достоинствах почвы, и доверие, с которым каждый покоряется определением старшин общины, – можно было бы подумать, что беспрестанные дележи подадут повод к беспрестанным спорам, а между тем вмешательство властей становится нужным лишь в очень редких случаях. Этот факт, *весьма странный сам по себе*, объясняется только тем, что эта система при всех своих неудобствах так срослась с нравами и понятиями народа, что эти неудобства переносятся безропотно». «Насколько, – говорит тот же автор, – идея общины природна русскому народу

Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*.

Это обстоятельство бесконечно важно для России.

Русское самодержавие вступает в новый фазис. Выросшее из антинациональной революции, оно исполнило свое назначение; оно осуществило громадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное действительных корней, лишенное преданий, оно обречено на бездействие; правда, оно возложило было на себя новую задачу – внести в Россию западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в этом, пока еще играло роль просвещенного правительства.

Эта роль теперь оставлена им.

Правительство, распавшееся с народом во имя цивилизации, не замедлило отречься от образования во имя самодержавия.

Оно отрелось от цивилизации, как скоро сквозь ее стремления стал проглядывать трехцветный призрак либерализма; оно попыталось вернуться к национальности, к на-

---

и осуществляется во всех проявлениях его жизни, настолько противен его нравам корпорационный муниципальный дух, воплотившийся в западном мещанстве» (Тегоборский «О производительных силах России», т. 1). (Примеч. А. И. Герцена.)

роду. Это было невозможно. Народ и правительство не имели ничего общего между собою; первый отвык от последнего, а правительству чудился в глубине масс новый призрак, еще более страшный призрак – *красного* петуха. Конечно, либерализм был менее опасен, чем новая пугачевщина, но страх и отвращение от либеральных идей стали так сильны, что правительство не могло более примириться с цивилизацией.

С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он властвует, чтоб властвовать. Громадные силы употребляются на взаимное уничтожение, на сохранение искусственного покоя.

Но самодержавие для самодержавия напоследок становится невозможным; это слишком нелепо, слишком бесплодно.

Оно почувствовало это и стало искать занятия в Европе. Деятельность русской дипломатии неутомима; повсюду сыплются ноты, советы, угрозы, обещания, снуют агенты и шпионы. Император считает себя естественным покровителем немецких принцев; он вмешивается во все мелкие интриги мелких германских дворов; он решает все споры; то побранит одного, то наградит другого великой княжной. Но этого недостаточно для его деятельности. Он принимает на себя обязанность первого жандарма вселенной, он опора всех реакций, всех гонений. Он играет роль представителя монархического начала в Европе, позволяет себе аристократические замашки, словно он Бурбон или Плантагенет, словно

его царедворцы – Глостеры или Монморанси.

К сожалению, нет ничего общего между феодальным монархизмом с его определенным началом, с его прошлым, с его социальной и религиозной идеею, и наполеоновским деспотизмом петербургского царя, имеющим за себя лишь печальную историческую необходимость, преходящую пользу, не опирающимся ни на какое нравственное начало.

И Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все более и более снегом и льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до этих правительственных вершин, мало-помалу застывают; остается одна материальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напор революционных волн.

Николай, окруженный генералами, министрами, бюрократами, старается забыть свое одиночество, но становится час от часу мрачнее, печальнее, тревожнее. Он видит, что его не любят; он замечает мертвое молчание, царствующее вокруг него, по явственно доходящему гулу далекой бури, которая как будто к нему приближается. Царь хочет забыться. Он громко провозгласил, что его цель – увеличение императорской власти.

Это признание – не новость: вот уже двадцать лет, как он без устали, без отдыха трудится для этой единственной цели; для нее он не пожалел ни слез, ни крови своих подданных.

Все ему удалось; он раздавил польскую народность. В России он подавил либерализм.

Чего, в самом деле, еще хочется ему? отчего он так мрачен?

Император чувствует, что Польша еще не умерла. На место либерализма, который он гнал с ожесточением совершенно напрасным, потому что этот экзотический цветок не может укорениться на русской почве, встает другой вопрос, грозный, как громовая туча.

Народ начинает роптать под игом помещиков; беспрестанно вспыхивают местные восстания; вы сами приводите тому страшный пример.

Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян; она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобождения и препятствует ему.

Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли, в свою очередь, – начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении невозможно – отодвинуть его решение до следующего царствования, конечно, легче, но это малодушно, и, в сущности, это только несколько часов, потерянных на скверной почтовой станции без лошадей...

Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомне-

ния, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания.

Европа, – я это сказал в другом месте, – не разрешила антиномии между личностью и государством, но она поставила себе задачей это разрешение. Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается наше равенство.

Европа, на первом шагу к социальной революции, встречается с этим народом, который представляет ей осуществление, полудикое, неустроенное, – но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европою. Человек будущего в России – *музик*, точно так же, как во Франции работник.

Но если так, не имеет ли русский народ некоторое право на снисхождение с вашей стороны, милостивый государь?

Бедный крестьянин! На него обрушиваются все возможные несправедливости. Император преследует его рекрутскими наборами, помещик крадет у него труд, чиновник – последний рубль. Крестьянин молчит, терпит, но не отчаивается, у него остается община. Вырвут ли из нее член, община сдвигается еще теснее; кажется, эта участь достойна сожаления; а между тем она никого не трогает. Вместо того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняют.



Вы не оставляете ему даже последнего убежища, где он еще чувствует себя человеком, где он любит и не боится; вы говорите: «Его община – не община, его семейство – не семейство, его жена – не жена: прежде чем ему, она принадлежит помещику; его дети – не его дети; кто знает, кто их отец?»

Так вы подвергаете этот несчастный народ не научному разбору, но презрению других народов, которые с доверием внимают вашим легендам.

Я считаю долгом сказать несколько слов по этому поводу.

Семейный быт у всех славян чрезвычайно сильно развит: это, может быть, единственный консервативный элемент их характера, предел их отрицанья.

Сельская семья неохотно дробится; нередко три, четыре поколения проживают под одним кровом, вокруг патриархально властвующего деда. Женщина, обыкновенно угнетенная, как это бывает везде в земледельческом сословии, пользуется уважением и почетом, когда она вдова старшего в роде.

Нередко вся семья управляется седою бабушкой... Можно ли сказать, что семья в России не существует?

Перейдем к отношениям помещика к крепостному семейству.

Но для большей ясности отличим норму от злоупотреблений, права от преступлений.

Jus primae noctis<sup>6</sup> никогда не существовало в России.

Помещик не может законно требовать нарушения супружеской верности. Если б закон исполнялся в России, изнасилование крепостной женщины наказывалось бы точно так же, как если бы она была вольная, т. е. каторжную работою или ссылкой в Сибирь с лишением всех прав. Таков закон, обратимся к фактам.

Я не думаю отвергать, что при власти, данной правительством помещикам, им очень легко насиловать дочерей и жен своих крепостных. Притеснениями и наказаниями помещик всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будут предоставлять ему дочерей и жен, точно так же, как тот достойный французский дворянин в «Записках Пеню», который в XVIII столетии просил, как об особенной милости, о помещении своей дочери в Parc aux cerfs<sup>7</sup>.

Не удивительно также, что честные отцы и мужья не находят суда на помещика благодаря прекрасному судебному устройству в России; они большею частью находятся в положении того господина Тьерселен, у которого Берье украл, по поручению Людовика XV, одиннадцатилетнюю дочь. Все эти грязные гадости возможны: стоит только вспомнить грубые и развращенные нравы части русского дворянства, чтобы в этом убедиться. Но что касается до крестьян, то они далеко не равнодушно переносят разврат своих господ.

---

<sup>6</sup> право первой ночи (*лат.*).

<sup>7</sup> Олений парк (*фр.*).

Позвольте мне привести этому доказательство.

Половина из помещиков, убиваемых своими крепостными (по статистическим данным, их число простирается от шестидесяти до семидесяти в год), погибает вследствие своих эротических подвигов. Процессы по таким поводам редки; крестьянин знает, что суды не уважают его жалоб; но у него есть топор; он им владеет мастерски и знает это тоже.

Ограничиваюсь этими намеками о крестьянах и прошу вас выслушать еще несколько слов о России образованной.

Вы смотрите так же не снисходительно на умственное движение России, как и на народный характер; одним почерком пера вы вычеркиваете все труды, совершенные до сих пор нашими скованными руками.

Одно из лиц Шекспира, не зная, чем унижить презренного противника, говорит ему: «Я сомневаюсь даже в твоём существовании!» Вы пошли далее, для вас несомненно, что русская литература не существует.

Привожу ваши собственные слова:

«Мы не станем придавать важности опытам тех немногих умных людей, которые вздумали упражняться в русском языке и обманывать Европу бледным призраком будто бы русской литературы. Если б не мое глубокое уважение к Мицкевичу и к его заблуждениям святого, я бы, право, обвинил его за снисхождение (можно даже сказать за милость), с которою он говорит об этой шутке».

Я напрасно доискиваюсь, милостивый государь, причин

этого презрения, с которым вы встречаете первый болезненный крик народа, проснувшегося в тюрьме, этот стон, сдавленный рукою тюремщика.

Отчего не захотели вы прислушаться к потрясающим звукам нашей грустной поэзии, к нашим напевам, в которых слышатся рыдания? Что скрыло от вашего взора наш судорожный смех, эту беспрестанную иронию, под которой скрывается глубоко измученное сердце, которая, в сущности, — лишь роковое признание нашего бессилия?

О как я хотел бы достойным образом перевести вам несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, несколько песен Кольцова! Вы бы тогда нам тотчас протянули дружескую руку, вы бы первый попросили нас забыть сказанное вами!

После крестьянского коммунизма ничего так глубоко не характеризует Россию, ничто не предвещает ей столь великой будущности, как ее литературное движение.

Между крестьянином и литературою подымается чудовище официальной России — «Россия-ложь, Россия-холера», как вы ее назвали.

Эта Россия начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских *bolgi*<sup>8</sup>, новую силу зла, новую степень разврата и жестоко-

---

<sup>8</sup> ямах ада (*ит.*).

сти. Это живая пирамида из преступлений, злоупотреблений, подкупов, полицейских, негодяев, немецких бездушных администраторов, вечно голодных; невежд-судей, вечно пьяных; аристократов, вечно подлых: все это связано с обществом грабительства и добычи и опирается на шестьсот тысяч органических машин с штыками.

Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование – в этом его единственная вина.

Стан, враждебный России официальной, состоит из горсти людей, на все готовых, протестующих против нее, борющихся с нею, обличающих, подкапывающих ее. Этих одиноких бойцов от времени до времени запирают в казематы, терзают, ссылают в Сибирь, но их место не долго остается пустым; новые борцы выступают вперед; это наше предание, наш майорат.

Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особенную силу. С любовью и благоговением прислушиваются к вольному слову, потому что у нас его произносят только те, у которых есть что сказать. Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати, когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск.

В последней моей брошюре<sup>9</sup> я достаточно говорил об рус-

---

<sup>9</sup> «Du développement des idées révolutionnaires en Russie». (Примеч. А. И. Герцена.)

ской литературе; ограничусь здесь некоторыми общими замечаниями.

Грусть, скептицизм, ирония – вот три главные струны русской лиры.

Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений этими страшными словами:

Все говорят – нет правды на земле...  
Но правды нет – и выше!  
Мне это ясно, как простая гамма, –

не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы, сквозь это видимое спокойствие, разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?

Лермонтов, в своем глубоком отвращении к окружающему его обществу, обращается на тридцатом году к своим современникам со своим страшным

Печально я гляжу на наше поколение:  
Его грядущее иль пусто, иль темно.

Я знаю только одного современного поэта, с такую же мощью затрагивающего мрачные струны души человеческой. Это также поэт, родившийся в рабстве и умерший прежде возрождения отечества. Это певец смерти, Леопарди, которому мир казался громадным союзом преступников, безжалостно преследующих горсть праведных безумцев.

Россия имеет только одного живописца, приобретшего общую известность, – Брюллова. Что же изображает его лучшее произведение, доставившее ему славу в Италии?

Взгляните на это странное произведение.

На огромном полотне теснятся в беспорядке испуганные группы; они напрасно ищут спасения. Они погибнут от землетрясения, вулканического извержения, среди целой бури катаклизмов. Их уничтожает дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против которой всякое сопротивление невозможно. Это вдохновения, навеянные петербургской атмосферой.

Русский роман обращается исключительно в области патологической анатомии; в нем постоянное указание на грызущее нас зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здесь не услышите голоса с неба, возвещающего Фаусту прощение юной грешнице, – здесь возвышают голос только сомнение и проклятие. А между тем, если для России есть спасение, она будет спасена именно этим глубоким сознанием нашего положения, правдивостью, с которою она обнаруживает это положение перед всеми.

Тот, кто смело признается в своих недостатках, чувствует, что в нем есть нечто сохранившееся среди отступлений и падений; он знает, что может искупить свое прошлое и не только поднять голову, но сделаться из «Сарданапала-гуляки – Сарданапалом-героем».

Русский народ не читает. Вы знаете, что также Вольте-

ра и Данте читали не поселяне, а дворяне и часть среднего сословия. В России образованная часть среднего сословия примыкает к дворянству, которое состоит из всего того, что перестало быть народом. Существует также дворянский пролетариат, сливающийся с народом, и пролетариат вольноотпущенный, поднимающийся к дворянству. Эта флуктуация, это беспрестанное обновление придает русскому дворянству характер, которого вы не найдете в привилегированных классах отсталой Европы. Одним словом, вся история России со времен Петра I, есть только история дворянства и влияний просвещения на него. Прибавлю, что русское дворянство числом равняется избирателям во Франции по закону 31 мая.

В продолжении XVIII века новорусская литература вырабатывала тот звучный, богатый язык, которым мы обладаем теперь, – язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французского остроумия. Эта литература, возникшая по гениальному мановению Петра I, имела, это правда, характер правительственный, но тогда знамя правительства был прогресс, почти революция.

До 1789 года императорский трон самодовольно драпировался в величественные складки просвещения и философии. Екатерина II заслуживала, чтобы ее обманывали картонными деревьями и дворцами из раскрашенных досок... Никто, как она, не умел ослеплять зрителей величественной обстановкой.



новкой. В Эрмитаже только и слышно было, что о Вольтере, о Монтескье, о Беккарии. Вам известен, милостивый государь, оборот медали.

Однако ж среди триумфального хора придворных песнопений уже звучала одна странная, неожиданная нота. Это был звук той скептической, грозно насмешливой струны, перед которым должны были скоро умолкнуть все прочие, искусственные напевы.

Настоящий характер русской мысли, поэтической и спекулятивной, развивается в полной силе по восшествии на престол Николая. Отличительная черта этого направления – трагическое освобождение совести, безжалостное отрицание, горькая ирония, мучительное углубление в самого себя. Иногда все это разражается безумным смехом, но в этом смехе нет ничего веселого.

Брошенный в гнетущую среду, вооруженный ясным взглядом и неподкупной логикой, русский быстро освобождается от веры и от нравов своих отцов.

Мыслящий русский – самый независимый человек в свете. Что может его остановить? Уважение к прошлому?.. Но что служит исходной точкой новой истории России, если не отрицание народности и предания?

Или, может быть, предание петербургского периода? Это предание не обязывает нас ни к чему; этот «пятый акт кровавой драмы, происходящей в публичном доме»<sup>10</sup>, напротив,

---

<sup>10</sup> По прекрасному выражению одного из сотрудников журнала «II Progresso»

развязывает нас окончательно.

С другой стороны, прошлое западных народов служит нам научением, и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний.

Мы разделяем ваши сомнения, – но ваша вера не согревает нас. Мы разделяем вашу ненависть, но не понимаем вашей привязанности к завещанному предками; мы слишком угнетены, слишком несчастны, чтобы довольствоваться полусвободой. Вас связывают скрупулы<sup>11</sup>, вас удерживают задние мысли. У нас нет ни задних мыслей, ни скрупулов; у нас только недостаток силы...

Вот откуда в нас эта ирония, эта тоска, которая нас точит, доводит нас до бешенства, толкает нас вперед, пока добьемся мы Сибири, истязания, ссылки, преждевременной смерти. Мы жертвуем собою без всякой надежды; от желчи; от скуки... В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное – но нет ничего пошлого, ничего косного, ничего мещанского.

Не обвиняйте нас в безнравственности, потому что мы не уважаем того, что вы уважаете. Можно ли упрекать найденыша за то, что он не уважает своих родителей? Мы независимы, потому что начинаем жизнь сызнова. У нас нет ничего законного, кроме нашего организма, нашей народности: это наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающий авторитет. Мы независимы, потому что ничего не

---

в номере от 1 августа 1851 года, в статье о России. (Примеч. А. И. Герцена.)

<sup>11</sup> сомнения (от фр. *scrupule*).

имеем. Нам почти нечего любить. Все наши воспоминания исполнены горечи и злобы. Образование, науку подали нам на конце кнута.

Какое же нам дело до ваших заветных обязанностей, нам, младшим братьям, лишенным наследства? И можем ли мы по совести довольствоваться вашею изношенной нравственностью, не христианскою и не человеческою, существующею только в риторических упражнениях и в прокурорских докладах! Какое уважение может внушать нам ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее здание без света и воздуха, подновленное в средние века, подбеленное вольноотпущенным мещанством? Согласен, что дневной разбой в русских судах еще хуже, но из этого не следует, что у вас есть справедливость в законах и судах.

Различие между вашими законами и нашими указами заключается только в заглавной формуле. Указы начинаются подавляющей истиною: «Царь соизволил повелеть»; ваши законы начинаются возмутительною ложью – ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами «свобода, братство и равенство». Николаевский свод рассчитан против подданных и в пользу самодержавия. Наполеоновский свод имеет решительно тот же характер. На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно надели на себя еще новые. В этом отношении мы стоим совершенно наряду с нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы, потому что не имеем возможности осво-

бодиться; но мы не принимаем ничего от наших врагов.

Россия никогда не будет протестантской.

Россия никогда не будет *juste-milieu*<sup>12</sup>.

Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими.

Мы, может быть, требуем слишком много и ничего не достигнем. Может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся; прежде 1848 года России не должно, невозможно было вступать в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась. Сам царь это замечает и свирепствует против университетов, против идей, против науки; он старается отрезать Россию от Европы, убить просвещение. Он делает свое дело.

Успеет ли он в нем?

Я уже сказал это прежде. Не следует слепо верить в будущее; каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы. Кто может предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм окончательно победят революцию в Европе?

Быть может, он погибнет?

Но в таком случае погибнет Европа...

И история перенесется в Америку...

---

<sup>12</sup> золотой серединой (*фр.*).

Написавши предыдущее, я получил последние два фельетона вашей легенды. Прочитавши их, первым моим движением было бросить в огонь написанное мною. Ваше теплое благородное сердце не дождалось, чтобы кто-нибудь другой поднял голос в пользу непризнанного русского народа. Ваша любящая душа взяла верх над принятой вами ролей *неумолимого* судьи, мстителя за измученный польский народ. Вы впали в противоречие, но такие противоречия благородны.

Перечитывая мое письмо, я, однако, подумал, что вы можете найти в нем новые взгляды на Россию и на славянский мир; и я решился послать его вам. Я вполне надеюсь, что вы простите те места, где я увлекся своею скифскою горячностью. Кровь варваров недаром течет в моих жилах. Мне так хотелось изменить ваше мнение о русском народе; мне было так грустно, так тяжело видеть, что вы против нас, что не мог скрыть своей горести, своего волнения – и дал волю перу. Но теперь я вижу, что вы в нас не отчаиваетесь, что под грубым армяком русского крестьянина вы узнали человека, я это вижу, и, в свою очередь, признаюсь вам, что вполне понимаю то впечатление, которое должно производить одно имя России на всякого свободного человека. Мы часто сами проклинаем наше несчастное отечество. Вы это знаете, вы сами говорите, что все, что вы сказали о нравственном ничтожестве России, – слабо в сравнении с тем, что говорят сами русские.

Но и для нас проходит время надгробных речей по России, и мы говорим с вами: «В этой мысли таится искра жиз-

ни». Вы угадали ее, эту искру, силою вашей любви; но мы, мы ее видим, мы ее чувствуем. Эту искру не потушат ни потоки крови, ни сибирские льды, ни духота рудников и тюрем. Пусть разгорается она под золою! Холодное, мертвящее дуновение, которым веет от Европы, может ее погасить.

Для нас час действия еще не настал; Франция еще по справедливости гордится своим передовым положением. Ей до 1852 года принадлежит трудное право. Европа, без сомнения, прежде нас достигнет гроба или новой жизни. День действия, может быть, еще далеко для нас; день сознания, мысли, слова уже пришел. Довольно жили мы во сне и молчании; пора нам рассказывать, что нам снилось, до чего мы додумались.

И в самом деле, кто виноват в том, что надобно было дожить до 1847 года, чтобы «немец» (Гакстгаузен) *открыл*, как вы выражаетесь, народную Россию, столь же неизвестную до него, как Америка до Колумба.

Виноваты, конечно, мы – мы, бедные, немые, с нашим малодушием, с нашею боязливой речью, с нашим запуганным воображением. Мы даже за границею боимся признаваться в ненависти, с которою мы смотрим на наши оковы. Каторжники от рождения, обреченные влачить до смерти ядро, прикованное к нашим ногам, мы обижаемся, когда об нас говорят как о добровольных рабах, как о мерзлых неграх, а между тем мы не протестуем открыто.

Следует ли смиренно покориться этим нареканиям, или

решиться остановить их, возвысив голос для свободной русской речи? Лучше погибнуть подозреваемыми в человеческом достоинстве, чем жить с позорным знаком рабства на лбу, чем слушать, как нас обвиняют в добровольном порабощении.

К несчастью, в России свободная речь удивляет, пугает. Я попытался приподнять только край тяжелой завесы, скрывающей нас от Европы, я указал только на теоретические стремления, на отдаленные надежды, на органические элементы будущего развития; а между тем моя книга, о которой вы выразились так лестно, произвела в России неблагоприятное впечатление. Дружеские голоса, уважаемые мною, порицают ее. В ней видят обвинение на Россию! Обвинение!.. в чем же? В наших страданиях, в наших бедствиях, в нашем желании вырваться из этого ненавистного состояния... Бедные, дорогие друзья, простите мне это преступление; я снова впадаю в него.

Тяжко, ужасно ярмо долгого рабства, без борьбы, без близкой надежды! Оно напоследок подавляет самое благородное, самое сильное сердце. Где герой, которого наконец не сломила бы усталость, который не предпочел бы на старости лет покой вечной тревоге бесплодных усилий?

Нет, я не умолкну! Мое слово отомстит за эти несчастные существования, разбитые русским самовластьем, доводящим людей до нравственного уничтожения, до духовной смерти.

Мы обязаны говорить; без этого никто не узнает, сколько прекрасного и высокого эти страдальцы навсегда замыкают в груди своей, и оно гибнет с ними в снегах Сибири, где даже на их могиле не начертится их *преступное* имя, которое их друзья будут хранить в сердце своем, не смея произносить его.

Едва мы открыли рот, едва пролепетали два-три слова о наших желаниях, о наших надеждах, и уже хотят его зажать, хотят заглушить в колыбели наше свободное слово! Это невозможно.

Для мысли настает время зрелости, в которое ее не могут более сковать ни цензурные меры, ни осторожность. Тут пропаганда делается страстью; можно ли довольствоваться шептанием на ухо, когда сон так глубок, что его едва ли рассеешь набатом?

От восстания стрельцов до заговора 14 декабря в России не было серьезного политического движения. Причина тому понятна: в народе не было ясно определившихся стремлений к независимости. Во многом он соглашался с правительством, во многом правительство опережало народ. Одни крестьяне, не причастные к выгодам императорским, более чем когда-нибудь угнетенные, попытались восстать. Россия, от Урала до Пензы и Казани, на три месяца подпала власти Пугачева. Императорское войско было отражено, разбито казаками, и генерал Бибииков, посланный из Петербурга, чтобы принять команду войска, писал, если я не ошибаюсь,



из Нижнего: «Дела идут очень плохо; более всего надобно бояться не вооруженных полчищ бунтовщиков, а духа народного, который опасен, очень опасен».

После неслыханных усилий восстание наконец было подавлено. Народ впал в оцепенение, умолк и покорился...

Между тем дворянство развивалось, образование начинало оплодотворять умы, и, как живое доказательство этой политической зрелости нравственного развития, необходимо выражающейся в деятельности, явились эти дивные личности, эти герои, как вы справедливо называете их, которые «одни, в самой пасти дракона отважились на смелый удар 14 декабря».

Их поражение, террор нынешнего царствования подавили всякую мысль об успехе, всякую преждевременную попытку. Возникли другие вопросы; никто не хотел более рисковать жизнью в надежде на конституцию; было слишком ясно, что хартия, завоеванная в Петербурге, разбилась бы о вероломство царя: участь польской конституции была перед глазами.

В продолжение десяти лет умственная деятельность не могла обнаружиться ни одним словом, и томительная тоска дошла до того, что «отдавали жизнь за счастье быть свободным одно мгновение» и высказать вслух хоть часть своей мысли.

Иные отказались от своих богатств с той ветреною беззаботностью, которая встречается лишь у нас да у поляков, и отправились на чужбину искать себе рассеяния; другие, не

способные переносить духоту петербургского воздуха, закопали себя в деревнях. Молодежь вдалась кто в панславизм, кто в немецкую философию, кто в историю или политическую экономию; одним словом, никто из тех русских, которые были призваны к умственной деятельности, не мог, не захотел покориться застою.

История Петрашевского, приговоренного к вечной каторге, и его друзей, сосланных в 1849 году за то, что они в двух шагах от Зимнего дворца образовали несколько политических обществ, не доказывает ли достаточно, по безумной неосторожности, по очевидной невозможности успеха, что время размышлений прошло, что волнения в душе не сдержишь, что верная гибель стала казаться легче, чем немая страдательная покорность петербургскому порядку.

Очень распространенная в России сказка гласит, что царь, подозревая жену в неверности, запер ее с сыном в бочку, потом велел засмолить бочку и бросить в море.

Много лет плавала бочка по морю.

Между тем царевич рос не по дням, а по часам и уже стал упираться ногами и головой в донья бочки. С каждым днем становилось ему теснее да теснее. Однажды он сказал матери:

– Государыня-матушка, позволь протянуться вволюшку.

– Светик мой царевич, – отвечала мать, – не протягивайся.

Бочка лопнет, и ты утонешь в соленой воде.

Царевич смолк и, подумавши, сказал:

– Протянусь, матушка; лучше раз протянуться вволюшку да умереть.

В этой сказке, милостивый государь, вся наша история.

Горе России, если в ней переведутся смелые люди, рискующие всем, чтобы хоть раз протянуться вволюшку.

Но этого бояться нечего...

Невольно приходит мне при этих словах на мысль М. Бакунин. Бакунин дал Европе образчик вольного русского человека.

Я был глубоко тронут прекрасными словами, с которыми вы обращаетесь к нему. К несчастью, эти слова до него не дойдут.

Международное преступление совершилось. Саксония выдала свою жертву Австрии, Австрия – Николаю. Он в Шлиссельбурге, в этой крепости зловещей памяти, где некогда держался взаперти, как дикий зверь, Иван Антонович, внук царя Алексея, убитый Екатериною II, этою женщиною, которая, еще покрытая кровью мужа, приказала сперва заколоть узника, а потом казнить несчастного офицера, исполнившего это приказание.

В сыром каземате, у ледяных вод Ладожского озера, нет места ни для мечтаний, ни для надежды!

Пусть же он спокойно заснет последним сном, мученик, преданный двумя правительствами, у которых на пальцах осталась его кровь...

Слава имени его и мщение!.. Но где же мститель?.. И мы

также погибнем на полпути, как он; но тогда вашим строгим и величавым голосом скажите еще раз нашим детям, что за ними остается долг...

Останавливаюсь на воспоминании о Бакунине и жму вам крепко руку, и за него, и за себя.

*Ницца, 22 сентября 1851.*